

ЛИКА МОЖНО

Вторник, половина одиннадцатого

18+

Лика Можно

Вторник, половина одиннадцатого

«Автор»
2026

Можно Л.

Вторник, половина одиннадцатого / Л. Можно — «Автор», 2026

Каждый вторник в половине одиннадцатого Ева пьёт капучино в маленькой кофейне. Через три месяца у неё свадьба с надёжным, правильным мужчиной. А за соседним столиком сидит Веня: сорок один год, растянутый свитер и прошлое, о котором он молчит.Однажды он бросает ей одну фразу. Случайную, пустую. И Ева начинает ходить за ним.Она знает его маршруты, его музыку, его привычки. Он знает, что она знает. И это давно уже не игра.

© Можно Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1. Вторник, половина одиннадцатого 7
Глава 2. Веня 10
Глава 3. Пальцы 12
Конец ознакомительного фрагмента. 16

Лика Можно
Вторник, половина одиннадцатого

Пролог

Кирпич холодный и мокрый. Я чувствую его лопатками даже через пальто, через свитер, через всё, что на мне надето, и почему-то это первое, что я запомню потом: не его губы, не его руки, а этот холод за спиной, шершавый, сырой, пахнущий дождём и старой штукатуркой.

Подворотня у его дома узкая, как щель. Сверху одна лампочка в железной сетке, жёлтая, мигающая. Под ногами лужа, в которой эта лампочка дрожит. В конце, за аркой, улица, машины, чьи-то голоса, кто-то смеётся. До его подъезда двадцать шагов. Я считала.

Мы не дошли.

— Ты этого хотела? — спрашивает он.

Он держит меня за запястья, прижимая их к стене по обе стороны от моей головы, но не больно, я могу вырваться в любую секунду, мы оба это знаем. Он просто держит. Как держат то, что слишком долго ускользало. Его лицо так близко, что я вижу капли дождя на ресницах. Скулы напряжены. Глаза злые, тёмные, такие, какими я видела их тогда, в «Зерне», над пролитым капучино.

— Ходила за мной. Сидела рядом. Сжимала колени, думала, я не вижу. — Голос у него хриплый, сорванный, совсем не тот, каким он говорит туристам про закаты. — Ты этого хотела, Ева?

Он впервые называет меня по имени вслух. Это бьёт сильнее, чем всё остальное.

— Да, — говорю я.

И это самое честное слово, которое я сказала за последние полтора года.

Он отпускает мои запястья. Секунду ничего не происходит, и мне становится страшно, что сейчас он развернётся и уйдёт, как тогда, и колокольчик будет звенеть, и я останусь одна у мокрой стены. А потом он целует меня. Не нежно. Зло, глубоко, так, что я ударяюсь затылком о кирпич и не чувствую боли. У него во рту вкус кофе и дождя и чего-то горького, и я хватаюсь за его рубашку, за эту мокрую чёрную рубашку, наматываю её на кулаки, тяну к себе, ближе, ещё ближе, пока между нами не остаётся ничего, кроме мокрой ткани.

Его руки под моим пальто. Длинные пальцы, которые я рисовала двадцать раз на полях блокнота. Они не ищут, не спрашивают, не задерживаются вежливо, как тогда на кольце. Они знают, чего хотят. Они находят край юбки, тянут вверх, и холодный воздух бьёт по бёдрам, и сразу за ним горячая ладонь, и от этого контраста у меня подгибаются колени, и он держит меня, вжимая в стену своим телом.

— Тише, — говорит он мне в шею, когда я всхлипываю слишком громко. — Там люди.

Там люди. За аркой. В двадцати шагах. Кто-то смеётся, проезжает машина, фары на секунду заливают подворотню белым светом, и в этом свете я вижу его лицо, искажённое, почти страдающее, и понимаю, что он злится не на меня. На себя. На то, что не может остановиться.

Я и не хочу, чтобы он останавливался.

Я расстёгиваю его ремень. Пальцы не слушаются, пряжка холодная, скользкая от дождя, и он перехватывает мою руку, помогает, нетерпеливо, грубо, и мы оба смеёмся, коротко, нервно, задыхаясь, как два подростка, которые впервые. Он поднимает меня, легко, будто я ничего не вешу, и я обхватываю его ногами, и кирпич царапает спину сквозь пальто, и лампочка над нами мигает, мигает, мигает.

Когда он входит в меня, я перестаю слышать улицу.

Остаётся только его дыхание. То самое, с четвёртой минуты «Ноября», которое я слушала сотни раз ночами, лицом к стене. Только теперь оно не в наушнике. Оно у моего уха, горячее, рваное, настоящее, и каждый его выдох совпадает с движением его тела, медленным, тяжёлым, глубоким, как будто он хочет доказать мне что-то, или себе, или нам обоим.

— Смотри на меня, — говорит он.

Я смотрю. В его глазах злость, и под злостью то, что я видела тогда в «Зерне», только теперь ничем не прикрытое. Голод. Страх. И что-то ещё, очень тихое, от чего у меня сжимается горло.

Я держу его за плечи. Не так, будто отнимут. Просто держу.

А потом всё внутри меня сжимается в одну точку, горячую, белую, как свет фар, и я кусаю его плечо через мокрую ткань, чтобы не закричать, и он прижимает меня к стене всем телом и стонет мне в волосы моё имя, и лампочка над нами гаснет совсем.

* * *

За два месяца до этого я ещё держала чашку так, будто её у меня сейчас отнимут.

И даже не знала, как его зовут.

Глава 1. Вторник, половина одиннадцатого

Сколько раз нужно услышать фразу, чтобы она стала твоей? Один? Десять? Или достаточно того, чтобы её сказал правильный человек в правильный момент, когда ты держишь чашку капучино на овсяном и думаешь о том, что через три месяца у тебя свадьба, а тебе почему-то не страшно, а пусто.

Мама говорит, что знаки ищут только те, кто боится принять решение сам. Может быть. Но мама никогда не сидела в «Зерне» по вторникам в половине одиннадцатого.

Он сказал это, даже не поднимая глаз от ноутбука: «Ты так держишь чашку, будто её у тебя сейчас отнимут». Сказал и снова надел наушники, как будто ничего не произошло. А у меня внутри что-то щёлкнуло, тонко, как лопается нитка на рукаве, когда ты слишком резко тянешь руку. Пальцы разжались сами. Я посмотрела на них, белые костяшки, красные следы от керамики, и поняла, что он прав. Что я так держу вообще всё.

Его зовут Вениамин. Это я узнала через неделю, когда бариста крикнул «Веня, твой американо!», а он забыл сдачу. Через две недели я знала, что по пятницам он сидит в кофейне у парка, у окна, и что музыку он выкладывает под ником, который я не буду называть даже себе, потому что тогда придётся признать, что я её слушаю. Каждую ночь. В наушниках, под одеялом, чтобы Дима не спросил.

Ненормально? Наверное. Но впервые за год мне есть куда ходить по вторникам.

* * *

Если честно, я не собиралась ни за кем следить. Слежка — это что-то из сериалов, там у людей бинокли, тёмные очки и машины без номеров. У меня есть только ноутбук с дедлайнами, проездной и привычка приходить раньше, чем нужно. Просто однажды я пришла в «Зерно» во вторник, потом ещё раз во вторник, а потом поймала себя на том, что в понедельник вечером выбираю, что надеть. Не платье, нет. Платье было бы слишком. Свитер, который делает плечи мягче, и серьги, которые можно не заметить, если не смотреть.

Он не смотрел.

Он вообще редко смотрит на людей, когда говорит с ними. Смотрит куда-то в сторону, в окно, в чашку, будто ответ написан там, а он только зачитывает. Со стариком в клетчатой кепке он говорит про шахматы и про то, что проигрывать надо медленно, со вкусом. С туристкой из Самары про то, что фотографировать закат бессмысленно, закат не для памяти, а для сейчас. С бариста Гошей про девушку Гоши, которая опять ушла, и про то, что уходят обычно не от человека, а от себя рядом с ним.

Я записываю. В заметки, в папку с названием «Рабочее», между списком правок для клиента и номером мастера по маникюру. Там уже сорок три фразы. Иногда я перечитываю их в метро, и мне кажется, что все они про меня. Даже про шахматы. Особенно про шахматы.

Тело реагирует раньше головы. Это я поняла на третьей неделе, когда он однажды не пришёл. Половина одиннадцатого, одиннадцать, четверть двенадцатого. Я сидела над остывшим кофе, и у меня мёрзли пальцы, хотя в кофейне было душно. Сжималось где-то под рёбрами, тянуло в солнечном сплетении, как перед экзаменом, к которому не готова, и в ушах стоял этот тонкий звон, который бывает, когда долго не спишь. В двенадцать я встала, расплатилась и пошла по его маршруту. Я тогда ещё не называла это маршрутом. Просто прогулка. Просто совпадение.

Он сидел в кофейне у парка, хотя был вторник, а не пятница. Сидел у окна, в своём сером свитере с вытянутыми манжетами, и смеялся над чем-то с женщиной, которую я видела впервые.

И вот тут, стоя за остановкой, через дорогу, с пакетом мандаринов, которые я зачем-то купила по пути, я впервые подумала: Ева, что ты делаешь?

И впервые не стала отвечать.

* * *

Женщину зовут Лида. Это я тоже узнала не сразу, а когда узнала, пожалела.

Ей под сорок, и она из тех, кому это идёт. Короткая стрижка, которую невозможно повторить без хорошего мастера и уверенности в себе. Длинный горчичный шарф, намотанный как попало и при этом идеально. Она никогда не снимает пальто до конца, только спускает его с плеч, и сидит так, будто в любой момент может встать и уйти, и все будут смотреть ей вслед. Веня с ней смеётся. Не улыбается вежливо, как со мной тогда, на секунду, а смеётся, запрокинув голову, так что видно горло и родинку под подбородком.

Я знаю про родинку. Это тоже, наверное, ненормально.

В субботу я купила горчичный шарф. В торговом центре, за полторы тысячи, синтетика, которая колется и электризуется. Дома намотала его перед зеркалом, как попало, и получилось не как попало, а как у человека, который очень старался выглядеть так, будто не старался. Дима сказал: «Прикольный. Новый?» — и пошёл досматривать футбол. Я стояла в коридоре в этом шарфе и чувствовала, как горят уши, так, будто меня поймали за чем-то стыдным. Хотя он ничего не понял. Он вообще давно ничего не понимает, и, честно говоря, это не только его вина.

Шарф я убрала в шкаф. Глубоко, под зимние вещи.

* * *

В «Зерне» новый человек за стойкой. Вернее, не новый: хозяин, которого обычно не видно, он сидит где-то в подсобке и ругается по телефону с поставщиками. Большой, шумный, с седой бородой и татуировкой гитарного грифа на предплечье. Гоша называет его Толиком, Веня — Анатолием Палычем, когда хочет его позлить.

Толик смотрит на меня.

Не как мужчина на женщину, а как охранник в магазине смотрит на подростка с большим рюкзаком. Долго, внимательно, не скрываясь. Я делаю вид, что работаю, стучу по клавиатуре, открываю и закрываю один и тот же макет, и чувствую этот взгляд на шее, между лопатками, на руках. Кожа под ним становится какой-то отдельной, чужой, как будто её натянули на меня не по размеру.

— Вам как обычно? — спрашивает он, когда я подхожу к стойке.

— Да. Капучино на овсяном.

— А я и не сомневался, — говорит Толик и не улыбается. — Вы же у нас по расписанию. Вторник, пол-одиннадцатого. Как электричка.

Сзади смеётся Гоша. Я тоже смеюсь, потому что так надо, потому что это шутка, потому что хозяева кофеен всегда знают постоянных гостей. Это нормально. Это просто сервис.

Но руки у меня трясутся, когда я беру чашку, и капучино расплёскивается на блюдце коричневым полумесяцем.

Веня в этот день сидит в наушниках и ничего не замечает. Я ухожу раньше обычного, почти бегом, и на улице меня догоняет холодный ветер с гор, лезет под куртку, под свитер, к самой коже, и мне вдруг становится легче. Как будто кто-то открыл окно в душной комнате, которую я сама себе построила.

Дома я удаляю папку «Рабочее». Сорок три фразы. Сорок четвёртую я так и не записала.

И это правильно, говорю я себе. Хватит. Ты взрослая женщина, у тебя свадьба через одиннадцать недель, у тебя дедлайн в пятницу и нормальная жизнь, в которой нет места мужчине в растянутом свитере, который даже не знает, как тебя зовут.

В понедельник вечером я не выбираю, что надеть.

Во вторник я сижу дома.

В среду утром восстанавливаю папку из корзины.

* * *

В пятницу я иду в кофейню у парка. Не к нему. Просто там вкусные круассаны, и у меня встреча с заказчиком рядом, и вообще это город, где всего четыре приличные кофейни, тут невозможно никого не встретить.

Его нет.

Я сажусь за столик у стены, достаю ноутбук, заказываю круассан, который не хочу, и минут двадцать смотрю в экран, ничего не видя. А потом мне на телефон приходит уведомление. Новый трек от того самого ника, который я не называю даже себе. Он выложил его десять минут назад.

Трек называется «Вторник, 10:30».

Я вставляю наушники. Пальцы не слушаются, провод путается, я роняю один наушник под стол и лезу за ним, задевая головой столешницу. Сначала там только шум кофейни: звон посуды, кофемашина, чьи-то голоса. Обычный его эмбиент, он часто записывает звуки вокруг себя. А потом, на второй минуте, сквозь всё это, очень тихо, звук, от которого у меня перестаёт хватать воздуха.

Звук расплёсканного капучино. Стук чашки о блюдце. И смех Гоши.

Я поднимаю глаза.

Он стоит в дверях кофейни, в своём сером свитере, со стаканом американо в руке. Смотрит на меня. Не в окно, не в чашку, не в сторону. Прямо на меня, впервые.

И говорит, не повышая голоса, так, что я читаю это по губам:

— Ты сегодня не по расписанию.

Глава 2. Веня

Если тебе сорок один и ты однажды уже потерял всё, у тебя развивается странный навык: ты замечаешь, когда на тебя смотрят. Не любуются, не оценивают, а именно смотрят, как смотрят на дом, в котором собираются жить. Раньше на меня так смотрели инвесторы, потом кредиторы, потом бывшая жена в день, когда делили квартиру. Я думал, этот взгляд я больше никогда не почувствую. Уехал же. Спрятался. Купил себе свитер, в котором невозможно выглядеть как человек, которому что-то нужно.

А потом во вторник, в половине одиннадцатого, девушка с белыми костяшками на чашке.

Фразу про чашку я сказал случайно. Я много чего говорю случайно, это у меня вместо курения. Раньше я говорил по делу: цифры, сроки, проценты, кто кому должен. Теперь говорю просто так, людям, которые через пять минут забудут. Это успокаивает. Слова, которые ничего не стоят, ни к чему не обязывают. Я думал.

Она не забыла.

На второй неделе я заметил её у окна. На третьей заметил, что она пересаживается так, чтобы видеть мой столик в отражении витрины. Это было даже остроумно, я оценил. На четвёртой Толик вытащил меня в подсобку, закрыл дверь и сказал шёпотом, каким обычно сообщают диагнозы:

— Она за тобой ходит.

— Кто?

— Не делай вид. Овсяный капучино. Вторник, пол-одиннадцатого. Я её у парка видел, она за остановкой стояла, как шпион из девяностых. С мандаринами. Вень, а если это от Стаса?

Стас — это мой бывший партнёр. Человек, который пять лет назад объяснил мне, что такое настоящая дружба, забрав всё, что можно было забрать, и оставив мне долги и привычку проверять, закрыта ли дверь. Толик до сих пор думает, что Стас однажды придёт за остатками. Толик вообще думает, что мир устроен как плохой фильм, и, честно говоря, иногда мир его не разочаровывает.

— Толь, Стасу от меня нечего брать. Даже свитер не мой, его Лида на барахолке купила.

— Тогда зачем она ходит?

Я не ответил. Я не знал. И вот это было самое неприятное, и самое, если честно, живое за последние несколько лет: я не знал, и мне хотелось узнать.

* * *

С треком это была подлость. Я понимаю. Взрослый мужчина не должен записывать на диктофон, как молодая женщина проливает кофе, и уж тем более не должен выкладывать это в сеть. Но я хотел проверить. Если она слушает, она услышит. Если не слушает, значит, Толик прав и всё это какая-то другая история, в которой мне лучше не участвовать.

Она услышала. Я видел через стекло, как она полезла под стол за наушником и ударилась головой. Видел, как у неё изменилось лицо на второй минуте. Как будто кто-то выключил в ней звук.

И я вошёл. Хотя собирался пройти мимо.

— Ты сегодня не по расписанию.

Она покраснела вся сразу, от шеи до лба, пятнами, и мне стало стыдно и одновременно смешно, а потом снова стыдно, уже за то, что смешно. Я сел напротив без приглашения. Поставил свой американо рядом с её нетронутым круассаном.

— У меня встреча с заказчиком, — сказала она. — Рядом.

— Конечно.

— Правда.

— Я верю. Здесь вкусные круассаны.

Она посмотрела на круассан, потом на меня, и я увидел, что она сейчас либо заплачет, либо засмеётся, и сама не знает, что выберет. Выбрала засмеяться. Коротко, некрасиво, с каким-то всхлипом в конце, и это было лучше любого красивого смеха, который я слышал за последний год.

А потом я посмотрел на её руки. Она снова держала стакан так, как в тот первый вторник. Белые костяшки. Будто отнимут.

На безымянном пальце кольцо. Тонкое, с маленьким камнем, такое, какое выбирают мальчики, у которых всё правильно.

Я не планировал этого делать. Это я говорю не в оправдание, просто констатирую. Я протянул руку через стол и разжал её пальцы, по одному. Мизинец, безымянный с кольцом, средний. Кожа у неё была холодная, а внутри ладони влажная и горячая, как бывает, когда человек долго держит себя в кулаке. Она не отдёрнула руку. Она вообще перестала двигаться, даже, кажется, дышать, и я чувствовал её пульс подушечкой большого пальца, быстрый, сбивчивый, как у птицы, которую взял в руки.

— Вот так, — сказал я. — Никто не отнимет.

И только тогда до меня дошло, что я сделал. Что я опять сказал фразу. Красивую, пустую, ни к чему не обязывающую. И что эта девушка унесёт её домой, к своему мальчику с правильным кольцом, и запишет куда-нибудь, и будет перечитывать.

Я убрал руку.

Она встала, собрала ноутбук, не закрывая его, прижала к груди, как щит, и сказала:

— Мне правда надо на встречу.

И ушла. Круассан остался на тарелке, кофе остался в стакане, а на салфетке, под стаканом, когда я его поднял, проступило размытое, написанное ручкой, которая почти не писала:

«Ева».

* * *

Вечером Лида приходит ко мне с бутылкой вина и без предупреждения, как всегда. Садится на подоконник, не снимая пальто до конца, и смотрит на меня так, как умеет только она: будто знает обо мне что-то, чего я сам не знаю, и решает, стоит ли говорить.

— Толик рассказал, — говорит она.

— Толик слишком много говорит.

— Вень. Ей лет двадцать пять.

— Двадцать четыре, наверное. Я не спрашивал.

— И она носит мой шарф.

Я поднимаю глаза.

— В смысле — твой?

— Такой же. Горчичный. Я видела её в субботу в торговом центре. Она его мерила перед зеркалом минут десять. — Лида делает глоток прямо из бутылки и улыбается какой-то новой, незнакомой мне улыбкой, в которой нет ни капли веселья. — Мне, знаешь, одновременно жутко и очень лестно. Последний раз мне подражали в десятом классе.

Я кручу в руках салфетку с её именем. Чернила совсем расплылись, буквы похожи на следы на мокром песке.

— Лид, а если это я виноват?

— В чём?

— Я ей сказал фразу. Одну. А она теперь живёт так, будто это была инструкция.

Лида долго молчит. За окном начинается дождь, первый за неделю, и стёкла сразу становятся мутными, как будто город решил ничего сегодня не показывать.

— Ты всем говоришь фразы, Веня, — наконец говорит она тихо. — Ты просто впервые встретил человека, который их слушает.

Глава 3. Пальцы

Как долго кожа помнит прикосновение? Я где-то читала, что нервные окончания успокаиваются за несколько секунд, а всё остальное — это уже голова, память, фантазия, то, что мы сами себе дорисовываем. Наверное, это правда. Наверное, у меня просто очень хорошая фантазия.

Потому что я чувствую его пальцы до сих пор.

Я шла от кофейни до остановки, потом ехала в маршрутке, потом поднималась на пятый этаж без лифта, и всё это время левая рука была отдельной от меня. Я несла её, как несут что-то хрупкое, чужое, данное на время. Не сжимала. Боялась сжать. Как будто если сожму, то сотру, и ничего не останется, кроме мокрой салфетки в кофейне и стыда.

Встречи с заказчиком, конечно, не было. Заказчик существовал, это правда, но встреча с ним была в четверг и в зуме. Я соврала, глядя человеку в глаза, и он это знал, и я знала, что он знает, и он всё равно сказал «конечно». Мягко. Без насмешки. Так говорят ребёнку, который рассказывает, что видел во дворе динозавра: конечно, видел, а какого цвета?

Дома пахло жареным луком и Диминым дезодорантом. Дима готовил ужин, это у нас по пятницам, его фирменная паста с курицей, которую он делает по видео одного блогера уже третий год и каждый раз пересаливает. Я сказала «привет», он сказал «привет, зай, через десять минут», не оборачиваясь. Обычный вечер. Обычный голос. Обычная кухня, в которой мы выбирали плитку полтора месяца, потому что я хотела терракотовую, а его мама сказала, что терракота — это прошлый век, и мы взяли серую.

Я закрылась в ванной.

* * *

Есть у меня такая привычка, ещё со школы: когда внутри слишком много, я включаю воду. Не моюсь, просто включаю. Шум воды делает всё вокруг тише, как будто кто-то накрывает тебя стеклянным колпаком. В детстве я так пряталась от родительских ссор. Потом от экзаменов. Потом от разговоров про свадьбу.

Я села на край ванны и посмотрела на свою руку.

Обычная рука. Ногти короткие, потому что с длинными неудобно рисовать на планшете. Заусенец на большом пальце, который я обкусала на прошлой неделе, пока ждала правки от клиента. Тонкая белая полоска от кольца, которое я почти никогда не снимаю, только когда мажу руки кремом. И само кольцо. Белое золото, маленький бриллиант, «чтобы не цеплялось за свитера», как сказал Дима, когда дарил. Он думал об этом, о свитерах. Он вообще обо многом думает заранее. Это хорошее качество. Это то, за что его любит моя мама.

Веня разжимал пальцы по одному. Я помню порядок, как помнят код от сейфа. Мизинец. Безымянный. Средний. На безымянном его палец задержался, на секунду, может, на полсекунды, ровно на кольце. Я тогда решила, что мне показалось. Сейчас, в шуме воды, я понимаю, что не показалось. Он заметил. Он заметил и всё равно продолжил.

И вот это — что он продолжил — почему-то отзывается внизу живота тяжёлым, тёплым, медленным, как будто туда налили горячего молока. Я сижу на краю ванны, в джинсах и свитере, и мне стыдно, и мне горячо, и это ощущение такое забытое, что я не сразу понимаю, что это. Что это просто желание. Обычное, физическое, простое, как голод.

Когда я в последний раз его чувствовала? Не в смысле секса — секс у нас есть, по средам и иногда в выходные, если не устали, — а вот так, само, без повода, от одной мысли?

Я не помню.

Я правда не помню.

Вода шумит, зеркало запотевает, моё отражение расплывается, пока не остаётся только светлое пятно лица и тёмное пятно волос. Так даже лучше. Так не видно, что я покраснела. Я

провожу пальцами правой руки по ладони левой, медленно, от запястья к кончикам, повторяя его движение. Не то. Совсем не то. Свои пальцы не умеют удивлять.

— Зай, готово! — кричит Дима из кухни.

Я выключаю воду. Тишина сразу становится громкой.

* * *

Паста пересолена. Я говорю, что вкусно. Дима рассказывает про работу: у них в отделе новый начальник, молодой, из Москвы, который заставляет всех писать отчёты в какой-то новой программе, и Дима считает, что это ненадолго, такие всегда долго не задерживаются. Я киваю. Я умею кивать в нужных местах, это как дыхание, не нужно думать.

А сама смотрю на его руки.

У Димы красивые руки, я всегда это знала. Широкие ладони, ровные ногти, светлые волоски на запястьях. Он держит вилку правильно, по-взрослому, его мама научила, она вообще многому его научила. Он режет курицу на одинаковые кусочки. Он всё делает ровно, аккуратно, без лишних движений, и раньше меня это успокаивало. Рядом с ним можно было не бояться, что что-то пойдёт не так, потому что он не позволит ничему пойти не так.

У Вени пальцы длинные, с узловатыми суставами, на указательном правом — желтоватое пятно, то ли от кофе, то ли от табака, хотя я ни разу не видела, чтобы он курил. Ногти обрезаны неровно. На тыльной стороне ладони старый шрам, тонкий, белый, как росчерк. Он держит стакан всей пятернёй, сверху, как держат что-то, что вот-вот поставят. Он всё делает чуть небрежно. Чуть мимо. Как будто ему всё равно, что подумают.

Я кладу вилку.

— Ты чего? — спрашивает Дима.

— Наелась.

— Ты же почти ничего не съела.

— Я в кофейне круассан ела.

Ещё одна ложь за день. Круассан остался на тарелке, и, может быть, его потом доел Гоша, или выбросили, или Веня сидел над ним и смотрел на салфетку с моим именем. Я не знаю, зачем написала имя. Рука сама. Это была единственная честная вещь, которую я сделала за весь тот разговор, и я сделала её так, чтобы он прочитал, когда меня уже не будет рядом. Трусость, наверное. Или, наоборот, смелость. Я пока не разобралась.

* * *

Ночью Дима поворачивается ко мне. Это не среда, но пятница тоже иногда бывает, если оба не устали. Он целует меня в плечо, потом в шею, под ухом, где всегда, где он когда-то нашёл, что мне нравится, и с тех пор целует только туда, как в кнопку, которая точно сработает.

И она срабатывает. Тело вообще очень простое, оно помнит маршруты лучше, чем голова.

Я закрываю глаза.

Это первая ошибка: закрывать глаза. Потому что в темноте под веками нет нашей спальни с серыми шторами и комодом из «Икеи», нет Диминого запаха, нет его привычного веса, к которому я привыкла, как к одеялу. В темноте под веками есть кофейня у парка, запах корицы и мокрых курток, шум кофемашины, и длинные пальцы, которые медленно, по одному, разгибают мои.

Дима гладит мой живот, и я представляю, что это делает другая рука. С неровными ногтями. Со шрамом. Которая не знает, где нужная кнопка, и поэтому ищет. Медленно. Не торопясь. Как будто у неё есть всё время в мире, и ей интересно, а не нужно.

Меня выгибает так, что Дима удивлённо замирает, а потом довольно смеётся в темноте и шепчет: «Ого, зай». Я кусаю губу до вкуса меди. Я дышу так, будто бежала. Внутри всё раскрывается, тянется, горит, и это так сильно и так стыдно, что слёзы проступают в уголках

закрытых глаз, и я не открываю их до самого конца, до той секунды, когда всё внутри сжимается и отпускает волной, длинной, горячей, от затылка до кончиков пальцев на ногах.

До самого конца там, в темноте, его пальцы.

Потом Дима засыпает почти сразу, обняв меня тяжёлой рукой поперёк живота, и сопит мне в затылок, довольный, тёплый, ничего не подозревающий. А я лежу и смотрю на полоску света от фонаря на потолке.

Так, значит, это и есть измена? Вот так она выглядит? Без чужой квартиры, без смс, без помады на воротнике. Просто ты лежишь в своей постели со своим мужчиной и думаешь о другом, и тебе так хорошо, как не было никогда.

Я осторожно снимаю кольцо и кладу его на тумбочку. Палец под ним бледный, чуть влажный, с тонкой вмятиной. Я трогаю эту вмятину и думаю, что за полтора года она так и не стала моей кожей. Она осталась следом.

Потом надеваю кольцо обратно. Дима может проснуться и увидеть. Дима всё замечает, когда дело касается порядка.

* * *

В субботу примерка. Третья по счёту. Платье шьют в маленьком ателье на втором этаже старого дома с лепниной, у женщины по имени Тамара Ашотовна, к которой мама записалась ещё в прошлом марте, когда Дима даже не сделал мне предложения. Мама вообще всё делает заранее. В этом они с Димой похожи, и, может быть, поэтому они так хорошо ладят.

Платье белое, с закрытыми плечами, кружевом по лифу и длинным рядом крошечных пуговиц на спине, которые застёгивают минут пять. Мне нравилось другое, простое, шёлковое, на тонких бретелях, но мама сказала, что на тонких бретелях в загс ходят разведённые женщины во второй раз, а у нас всё должно быть как положено. Я не стала спорить. Я вообще не спорю, если это не про шрифты.

Тамара Ашотовна застёгивает пуговицы, сопя, с булавками во рту, и что-то бормочет про то, что я похудела и придётся ушивать. Мама сидит на бархатном диванчике с чашкой чая и смотрит на меня через зеркало тем взглядом, которым, наверное, смотрят на скульптуру, которую лепили двадцать четыре года и почти закончили.

— Плечи расслабь, — говорит мама. — Ты как будто ждёшь удара.

Я расслабляю плечи. Пальцы у меня сжаты в кулаки, я замечаю это, только когда Тамара Ашотовна просит поднять руки, и я не сразу могу их разжать. Белые костяшки. Красные полукружья от ногтей на ладонях.

Ты так держишь чашку, будто её у тебя сейчас отнимут.

Я смотрю на себя в зеркало: высокая шея, кружево, пуговицы, мамины глаза за плечом, а за ними, в отражении окна, кусочек серого неба и чьи-то развешенные на балконе через дорогу простыни. И думаю: а что, если её уже отняли? Чашку? Что, если я держу пустую, просто по привычке?

— Красавица, — говорит Тамара Ашотовна, вынимая булавку изо рта. — Жених с ума сойдёт.

— Он у нас не из таких, кто сходит с ума, — улыбается мама. — Он у нас надёжный.

И они обе смеются, а я стою в белом платье, которое застёгивается пять минут и, значит, снимается тоже пять минут, и думаю, что если бы сейчас случился пожар, я бы просто сгорела в нём, потому что не успела бы выбраться.

* * *

В воскресенье Дима уезжает к родителям помогать отцу с гаражом. Я остаюсь дома под предлогом работы. В этот раз это даже почти правда: у меня висят правки по логотипу для сети пекарен, и заказчик хочет, чтобы булочка на логотипе выглядела «более счастливой». Я честно открываю файл. Честно смотрю на булочку минут десять.

Потом открываю браузер.

Я ни разу не искала его. Это было что-то вроде правила, последней границы, которую я себе оставила: слушать музыку можно, ходить в кофейни можно, записывать фразы можно, но не гуглить. Гуглить — это уже совсем. Это уже как в сериалах. Это уже не совпадение, а сталкинг, и тогда придётся называть вещи своими именами.

Я вбиваю в поиск: «Вениамин» и название нашего города.

Ничего. Стоматолог Вениамин Аркадьевич, школьный учитель физики, чей-то некролог.

Я вбиваю ник, под которым он выкладывает музыку. Тоже ничего, только сам профиль, где нет ни фотографии, ни описания, только треки с названиями вроде «Ноябрь, стекло» и «Человек ждёт автобус».

Тогда я делаю то, чего делать не стоило. Я вспоминаю Толика. Толик называл его не только Веней. Однажды, когда они спорили о чём-то у стойки, Толик крикнул на всю кофейню: «Да тебя, Ершов, из твоего же ресторана выносили на руках, а теперь ты мне про скромность рассказываешь!» Я тогда записала это в «Рабочее». Сорок первая фраза. Я думала, это шутка.

«Вениамин Ершов ресторан».

Страница грузится полсекунды. Этого хватает, чтобы у меня вспотели ладони.

Статья в деловом журнале шестилетней давности. «Ершов и партнёры: как сеть из трёх кофеен за десять лет стала гастрономической империей». На фотографии мужчина в тёмно-синем костюме, без галстука, с коротко подстриженной бородой, стоит на фоне огромного панорамного окна с видом на чужой большой город. Улыбается. Уверенно, широко, той улыбкой, которой улыбаются люди, знающие, сколько стоит их время.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.